

УДК 94(47) + 070(09)(47)  
1(470) (091)

## «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ» В ПОЛЕМИКЕ С Ф.М. ДОСТОЕВСКИМ (1880–1881 гг.)

© 2020 г.

*В.А. Кумаев*

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород

vlakit@mail.ru

*Поступила в редакцию 25.12.2019*

Анализируется содержание полемики, которую вел либеральный журнал «Вестник Европы» с идеями публицистики Ф.М. Достоевского в 1880–1881 гг., определяется ее место в истории противостояния славянофильства и западничества.

*Ключевые слова:* «Вестник Европы», Ф.М. Достоевский, А.Н. Пыпин, К.Д. Кавелин, А.И. Введенский, славянофильство, западничество, либерализм, Европа, Россия, народ, православие.

Тема отношения ведущего журнального органа русских либералов к той совокупности идей, которую отстаивал Достоевский на страницах «Дневника писателя» и в знаменитой Пушкинской речи, представляет несомненный научный интерес. Между тем она так и не удостоилась специального исследования. Нет такого как в ряду работ по истории общественной мысли в России, так и в обширнейшем пространстве достоевковедения. Попытаемся ликвидировать этот пробел.

Начать же придется с выхода за обозначенные в названии статьи хронологические границы. У полемики 1880–1881 гг. есть предыстория – относится она ко времени общественного подъема в поддержку славян. Во «Внутреннем обозрении» августовского 1876 г. номера «Вестника Европы» Л.А. Полонский пространно рассуждал об очевидном для него влиянии славянофильских идей на мышление умеренных либералов, указывая на опасность его «ославянофиливания». В этом контексте и прозвучала реплика обозревателя журнала в адрес Ф.М. Достоевского, приступившего с начала 1876 г. к изданию ежемесячного «Дневника писателя». Это был первый выпад журнала против Достоевского.

«Прочтите, что нынче пишет г. Достоевский о славянском призвании России, – говорилось во «Внутреннем обозрении». – Он очень полезен тем, что может напомнить нашим либералам, каково истинное значение тех слов, которые они у славянофилов переняли. В сущности, у славянофилов все начала, даже община, занимают второе место в сравнении с главным (по их мнению) отличием нашим от Европы – православием. Мы уважаем религиозные верования, но не можем не сказать, что культурным и политическим воззрениям, основанным на осо-

бенностях какого-либо вероисповедания, место не в публицистике. У нее должен быть научный метод, а не экстаз, она имеет дело с видимым, а не с невидимым миром <...>» [1]. (В дальнейшем ссылки на журнал даются в тексте статьи.)

Достоевский, понятно, не мог не взять на заметку эту вылазку против себя. Не мог он не обратить внимания и на еще одно заявление либерального журнала. Оно не адресовалось напрямую автору «Дневника писателя», но, конечно же, подразумевало и его позицию – может быть, даже в первую очередь. Вот что он прочитал в следующем, сентябрьском «Внутреннем обозрении» «Вестника Европы»: «<...> вообще движению в пользу славян не следует придавать слишком вероисповедный характер, беспрепятственно упоминать о “наших единоверцах”. <...> Благородное дело свободы увидало в рядах своих защитников – русских людей. Уже с этой точки зрения, еще более возвышенной, чем сочувствие по единоверию и даже единству племени, дело славян – священное дело» [1876, № 9, с. 351–352].

Это высказывание либерального журнала стало критической точкой. Здесь сдержанности Достоевского в отношении «Вестника Европы» пришел конец. Половина содержания сентябрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. была посвящена защите принципа «единоверия» в славянском вопросе от либеральных посягательств и обличению «устаревшего теоретического западничества», «оторвавшегося от народа и жизни европейничанья». «Поверьте, – уверял Достоевский своих читателей, – что и “единоверие” слишком любит и ценит благородное и великое дело свободы, мало того: умеет и сумеет умереть за него всегда, когда надо будет» [2, т. XXIII, с. 131].

Как реагировал «Вестник Европы» на этот выпад Достоевского? В журнале сочли неакту-

альным втягивание в полемику с писателем. В антипанславистской по своему направлению статье Л.А. Полонского «Русский вопрос на юго-востоке Европы» нашлось место только короткой и резкой реплике в адрес автора «Дневника писателя». «Мы отвечать не можем», – заявил публицист журнала. А причина отказа объяснялась тем, что «почтенный наш оппонент не рассуждает, а крестится». Тут же Полонский приравнял Достоевского-публициста к «массе людей поверхностных, неспособных ни к какому анализу, или неискренних болтунов, щеголяющих взятыми напрокат обрывками чужих мнений» [1876, № 11, с. 404].

Этим эпизодом завершилась предыстория полемики «Вестника Европы» с Достоевским-публицистом в 1880–1881 гг. Писатель, как известно, ограничился изданием своего моножурнала 1876–1877 годами. Возобновление его состоялось только после Пушкинского праздника по случаю открытия памятника поэту в Москве, проходившего 5–8 июня 1880 г. [3]. Но единственный в этом году выпуск «Дневника писателя» вряд ли увидел свет, если бы не была произнесена Достоевским его Пушкинская речь, ставшая главным событием московских торжеств. Именно она вместе с августовским «Дневником писателя» вызвала бурную журнально-газетную дискуссию. «Вестник Европы», конечно же, не остался от нее в стороне.

Буквально по горячим следам московских торжеств в письме к издателю и редактору журнала М.М. Стасюлевичу от 13(25) июня 1880 г. И.С. Тургенев дал свою оценку речи Достоевского и обозначил точки несогласия с ней, программируя, таким образом, содержание безусловно необходимой, на его взгляд, полемики с московским триумфатором в «Вестнике Европы». Вот что он писал: «Это очень умная, блестящая и хитроискусная речь, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура – и вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка – но ужели же одни *русские* жены пребывают верны своим старым мужьям? А главное: «Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим – потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гете и др.». Но ведь он их *воссоздал*, а не *создал* – и мы точно так же не создадим новую Европу – как он не создал Шекспира и др. К чему этот *всечеловек*, которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе и не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным *всечеловеком*. Опять все та же гордыня

под личиною смирения. Может быть, европейцам оттого и труднее та ассимиляция, которую возводят в какое-то гениальное всемирное творчество – что они оригинальнее нас. Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да речь была действительно замечательная по красоте и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Г-да славянофилы нас еще не проглотили» [4, с. 272].

Июльский номер журнала открывала подборка материалов, посвященных московским торжествам. Финальной ее частью была небольшая статья «С пушкинского праздника», написанная участником пушкинского праздника А.Н. Пыпиным. К такой атрибуции склоняет нас уверенность К.К. Арсеньева (он уже являлся к тому времени сотрудником редакции) именно в его авторстве. «Статья Пыпина по поводу пушкинского празднества очень хороша», – говорилось в письме Арсеньева М.М. Стасюлевичу от 13(25) июня 1880 г. [5, № 165, л. 42]. Дочь Пыпина В.А. Ляцкая в воспоминаниях об отце также подтверждает, что «небольшая статейка “С Пушкинского праздника”» написана им [6, ед. хр. 1117, л. 154–155].

Речь Достоевского удостоилась в этом выступлении журнала особого внимания. Пыпин не оспаривал ее успеха: «сказанная в известном стиле талантливого писателя», она оказала сильное воздействие на аудиторию, которой требовалось «все больше увлекающих и обольстительных слов». Но в ее содержании не открылось ничего нового. «Такие мысли высказывались издавна в славянофильской школе, – писал он, – и г. Достоевский только применил их к Пушкину, сделав его поэзию предвещанием. Это – темы Хомякова, Языкова, Тютчева. Мы не поклонники ни такой поэзии, ни таких теорий <...>» [1880, № 7, с. XXXI].

Отталкивала не только очевидная вторичность главных, опорных идей речи, но и тот бесспорный для оппонента Достоевского факт, что она была построена «на фальши». Дань ей писатель отдал в рассуждениях о склонности русской души к «всемирной отзывчивости» и идеализации народа. В них Пыпин увидел всего лишь «не новый пример национального самопрославления», «обыкновеннейшее национальное самохвальство» [там же, с. XXXII]. А «наш народ – сфинкс, до тех пор, пока луч просвещения не осветит его дремлющее сознание, и успехи общественности не дадут ему полного права гражданства», – убеждал он читателей «Вестника Европы» [там же, с. XXXIII].

В нацеленной против Достоевского части статьи легко прочитываются приведенные почти дословно строки из июньского письма Тур-

генева Стасюлевичу, которые были процитированы выше. Редактор журнала считал уместным такой своеобразный способ подключения Тургенева к спору с главным героем пушкинского праздника. Сам же Тургенев был близок к решению публично оппонировать Достоевскому после того, как ознакомился с августовским «Дневником писателя». Трибуной для его выступления, скорее всего, должен был стать «Вестник Европы». Об этом настроении писатель сообщал П.В. Анненкову: «Ужасно подмывает меня сказать по этому поводу слово – но, вероятно, я удержусь... хоть и не следовало бы» [4, с. 298].

В «закулисье» «Вестника Европы» звучали и куда более резкие, крайне нелицеприятные оценки личности и идейной позиции Достоевского. Вот каков был, к примеру, приговор П.В. Анненкова. Он писал Тургеневу 22 августа (3 сентября) 1880 г.: «Хорошо сделали, что отказались от намерения войти в диспут с одержимым бесом и святым Духом одновременно Достоевским: это значило бы растравить его болезнь и сделать героем в серьезной литературе. Пусть остается достоянием фельетона, псевда, баб, ищущих Бога и России для развлечения, и студентов с зародышами черной немощи. Это его настоящая публика» [7]. Спустя некоторое время, находясь под впечатлением от «героических», по характеристике Анненкова, похорон Достоевского, он осознал, что его эпистолярная эскапада перешла границу приличия, и попросил Тургенева возвратить это письмо «для сожжения» [там же, с. 135].

На августовский «Дневник писателя» «Вестник Европы» реагировал заметкой, подписанной криптонимом «В.В.» (этот материал увидел свет в составе «Литературного обозрения» октябрьского номера журнала за 1880 г.). Она принадлежала А.Н. Пыпину, о чем авторитетно свидетельствует М.М. Стасюлевич. «Статья о Достоевском принадлежит Пыпину, но подписано В.В. для того, чтобы никто не узнал автора», – говорится в его письме к жене, Л.И. Стасюлевич, от 10(22) октября 1880 г. [8, № 103, л. 166 об.].

Напомним, что единственный выпуск «Дневника писателя» Достоевского за 1880 г. включал в себя «Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине», саму речь и четыре полемические «лекции», адресованные проф. А.Д. Градовскому. Содержание того, что обрамляло здесь речь, было воспринято в журнале как «целое обвинение против либералов», как «поход против либерализма». «Если «Речь» <...> имела отчасти примирительные намерения, то комментарии – стро-

жайшее обличение “либералов”, которые просто сгоняются со свету», – писал Пыпин [1880, № 10, с. 812].

Автор заметки отказывался от «правильного спора» с Достоевским прежде всего по той причине, что «изложение его не есть вовсе последовательное развитие какой-либо мысли, а раздражительное словоизвержение», которое диктуется только «страстью» и «настроением». «Эта страсть – крайне неумеренное самолюбие, это настроение – мистицизм» [там же].

В «полемических приемах» Достоевского против либералов Пыпин опять-таки не обнаружил ничего нового: «это – повторение старых (еще сороковых годов) нападений первых славянофилов на “Петербург” и “петербургский период”, но повторение слабое, непоследовательное и иногда очень некрасивое» [там же, с. 813].

Обозреватель «Вестника Европы» подхватил «как очень верную» параллель между «Дневником писателя» и «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя, которая уже прозвучала в печати. «Сходство поразительное», соглашался он в свою очередь с этой аналогией, особенно во взгляде двух писателей на Западную Европу. Но предсказание Гоголя о скорой гибели Европы «доселе не осуществилось: Европа покамест не “рухнула”» [там же].

Пыпин обратил внимание и на кричащее противоречие в оценках значения Европы для России. Если в Речи хорошо прочитывались настоящие дифирамбы в ее адрес, то «комментарий» предлагал уже совершенное иное. Здесь содержалась «целая злостно обвинительная тирада против взятого у Европы либерализма и оказывается, что “два последние века”, т. е. именно Петровская реформа и ее развитие, были величайшим злом и преступлением, которые г. Достоевский навязывает тому же самому либерализму» [там же, с. 815]. Но ведь не либералы, возражал публицист «Вестника Европы», «заведовали судьбами русского народа» в послепетровский период [там же, с. 816].

Ноябрьский номер «Вестник Европы» заметно изменил картину восприятия публицистики Достоевского в журнале. Во «Внутреннем обозрении» К.К. Арсеньев еще продолжал линию на ее категорическое неприятие, ужесточая политико-идеологическую квалификацию взглядов писателя. Достоевский фигурировал здесь уже не как наследник славянофилов 40-х годов, а пополнял ряд «последних могилок реакции», соседствуя в этой компании с редакторами «Берега» и «Московских ведомостей» – П.П. Цитовичем и М.Н. Катковым [1880, № 11, с. 377–378]. Однако в той же самой ноябрьской книжке было напечатано «Письмо Ф.М. Достоевскому»

К.Д. Кавелина. Позиция его автора, как мы увидим ниже, явно выходила за рамки установившегося редакционного подхода. Тем не менее кавелинской статье дан был «зеленый свет», так как, по мнению редакции, «почтенный автор “Письма” не ограничивается своими личными взглядами на степень искренности, глубину убеждений г-на Достоевского, но независимо от того оспаривает его существенные положения, высказывая свои мысли и взгляды, весьма интересные не для одних нас, но, надеемся, также и для большинства читателей» [там же, с. 431].

Обращаясь к «Письму Ф.М. Достоевскому», надо, конечно, учитывать тот факт, что его автор – видный западник 40-х годов – прошел в последующие десятилетия заметную эволюцию в сторону славянофильства. Уже в конце 50-х гг. он взял под защиту крестьянскую общину, а в начале 60-х увидел в русском народе «народ будущего», противопоставляя «мужицкое царство», созданное в России освобождением крестьян, «развращенной междоусобицами Европе». Отказавшись от гегельянства, он пересмотрел к середине 60-х гг. свою первоначальную, либерально-западническую концепцию русской истории и оставил идею неизбежного схождения путей исторического развития России и Европы [8].

Тем не менее Кавелин был «своим» в редакционном кругу «Вестника Европы», регулярно печатаясь в журнале. Но полному единству его взглядов и идейной позиции, которую занимала редакция журнала, препятствовали как минимум два обстоятельства: кавелинский политический индифферентизм и расположенность к славянофилам.

Кавелин начал статью с признания, от которого и поспешила отмежеваться редакция «Вестника Европы». Он прямо сказал, что Пушкинская речь Достоевского произвела «потрясающее впечатление» на самые различные фракции общественной мысли, а в полемике с А.Д. Градовским автор «Дневника писателя» с «необычным талантом, всегдашнею искренностью и глубоким убеждением» не только поставил, но и поднял «на степень общечеловеческих» такие вопросы, которые назрели «в умах и сердцах мыслящих людей в России». Эта оценка звучала явным диссонансом к предыдущим высказываниям журнала о Достоевском.

Не мог, конечно, не вызвать симпатию у Кавелина примирительный по отношению к западникам пафос комментария к речи о Пушкине, которым открывался августовский «Дневник писателя». Но в полемической части «Дневника» господствовал уже антилиберализм – и это было неприемлемо для Кавелина. К тому же в своей критике Градовского Достоевский

был мало убедителен, повторяя «все ту же старую аргументацию славянофилов, которая едва ли кого удовлетворит теперь» [1880, № 11, с. 441]. Рефрен «подобно славянофилам сороковых годов» звучал в кавелинской статье с очевидным негативным оттенком.

Основной русский (и общечеловеческий) вопрос Кавелин формулировал так же, как и Достоевский: «Что важнее и существеннее, что должно быть поставлено на первый план: личное, нравственное совершенствование или выработка и совершенствование тех условий, среди которых человек живет в обществе» [там же, с. 432]. Этот вопрос, полагал Кавелин, разделил в свое время славянофилов и западников, и «как ни разветвлялись славянофильское и западническое воззрения, как ни видоизменялись и ни сближались они некоторыми своими ветвями, все-таки основной тон их различия, обозначенный выше, удержался и до сих пор» [там же].

Тезисом о «всеевропейском и всемирном» назначении русского человека Достоевский оправдал петровские реформы и устранил, таким образом, одну из главных причин противостояния славянофилов и западников. Примирительный пафос речи Достоевского нашел вполне сочувственный отклик у Кавелина («пора, давно пора!»). Проблема соглашения исходных принципов, от которых отправлялись славянофилы и западники, «живо занимала» его в последние годы. Старое славянофильство и западничество, на его взгляд, сошли со сцены. Продолжение полемики между «новыми», как их называл Кавелин, славянофилами и западниками (к последним он относил редакцию «Вестника Европы») тем более не имело смысла. Признавая вполне актуальной идею примирения партий, Кавелин в то же время полагал, что путь к искреннему согласию лежит только через «откровенное и прямое» объяснение между ними по всем пунктам остающихся разногласий. Именно эту задачу и должен бы выполнить ответ Достоевскому.

Первое возражение автору «Дневника писателя» касалось понимания им «взаимных отношений у нас простого народа и образованных слоев общества». «Подобно славянофилам сороковых годов, вы видите живое воплощение возвышеннейших нравственных идей в духовных качествах и совершенствах именно крестьянства, которое осталось непричастным отступничеству от народного духа, запятнавшему будто бы высшие, интеллигентные слои русского общества», – писал Кавелин [там же, с. 433–434]. Возвращение к тезисам славянофильско-западнической полемики сорокалетней давности выглядело, с точки зрения Кавелина, анахронизмом по нескольким причинам.

Во-первых, взгляды славянофилов и западников 40-х годов не исключали, а «пополняли» друг друга: «западники желали видеть общечеловеческие идеалы осуществленными в России; славянофилы желали, чтобы общечеловеческие идеалы не были России навязаны, а были осуществлены свободным почином, свободной деятельностью русского народа». Во-вторых, оба течения общественной мысли не избежали заблуждений. Западники смешивали и смешивают общечеловеческое с европейским, принимая последнее за первое. Славянофилы, выставив требование самостоятельного развития, впали в столь же серьезную ошибку: начали искать основные черты русского национального характера до того, как он сложился. И, наконец, возобновление «старого спора» не имело смысла по той причине, что жизнь «опровергла» оба направления [там же, с. 436–438].

Реальным, таким образом, оставалось деление русской мысли на тех, кто видел панацею в перестройке общественных учреждений, и тех, кто делал ставку исключительно на нравственное возрождение. Было бы ошибочным, считал Кавелин, рассматривать эти течения как непримиримо враждебные, взаимоисключающие. Кавелин делал очень важное признание: оказывается, он давно уже подходил к мысли о том, что «коренное зло» европейских обществ, не исключая русского, заключалось «в недостаточном развитии и выработке внутренней, нравственной и душевной стороны людей». Именно поэтому он не мог не симпатизировать славянофилам, поставившим на первый план вопрос о внутренней, нравственной правде и соединившим его с надеждами на великую будущность России и славянства. Громадный успех речи Достоевского объяснялся прежде всего тем, что писатель продолжил эту линию.

Но, сказав о своем новом понимании нравственной правды в жизни общества, Кавелин оставался в убеждении, что нравственное совершенствование не заменяет гражданских идеалов, а лишь дополняет их. Не менее принципиальным для него был вопрос о содержании нравственного идеала, степени его выработанности и укорененности в народе. Здесь Кавелин резко расходился с Достоевским. Отсюда, собственно, и начинается полемика с ним.

Вдохновлявший автора «Письма» идеал «мужицкого царства» отнюдь не мирил его с попытками идеализировать религиозно-нравственный облик простого народа. Он нашел немало убедительных контрдоводов, разрушавших чисто славянофильское убеждение Достоевского в несравненной высоте нравственных качеств русского народа и его исключительном духов-

ном единстве. Очевидная для Кавелина невыявленность духовной сущности русского народа заставляла его с недоверием отнестись и к основной мысли славянофилов и Достоевского, «будто мы пропитаны христианским духом».

Свидетельством недостаточно глубокого проникновения христианства в повседневную жизнь народа являлось то, что оно усваивалось, как правило, с чисто внешней, обрядовой стороны, и то, что улучшение мирских порядков проходило мимо Церкви и ее влияния. Оба эти явления имели одну причину – отрешенность восточного христианства от мира. Католичество и протестантизм, напротив, воплотили другую, деятельную, преобразовательную сторону христианства, но не избежали, как и православие, односторонности, забыв о внутреннем, нравственном мире человека. Однако критикуя европейца за то, что он целиком отдался «выработке объективных условий существования» и забыл о «субъективной стороне», Кавелин не мог согласиться с полным осуждением западного христианства и видел в этом свое принципиальное расхождение со славянофилами и Достоевским. «Вы сами себе противоречите, преклоняясь перед европейской наукой, искусством и литературой, в которых веет то же дух, который породил и католичество, и протестантизм. Идя последовательно, вы должны, отвергнув одно, отвергнуть и другое: середины здесь нет и быть не может» [там же, с. 447–448].

«Письмо Ф.М. Достоевскому» завершалось критикой «теоретических оснований» позиции писателя. Ставка на нравственность как единственную основу общественного устройства казалась Кавелину ошибочной в силу того, что действие нравственного начала не могло выйти за пределы внутреннего мира, души «единичного человека. Так называемая «общественная нравственность» являла собой, считал он, мир общественных идей, общественных идеалов, которые имели своим источником не нравственное самосовершенствование людей, а всего лишь «реальную необходимость устроить их сожительство в обществе так, чтобы всем и каждому из них было по возможности безопасно, спокойно, свободно и вообще хорошо жить и заниматься своим делом» [там же, с. 451–452]. Идеал абсолютно нравственного общества, все члены которого жили бы «по внушению совести», был просто недостижим. Нравственный монизм Достоевского оказывался совершенно неукорененным в реальной действительности и выглядел не менее односторонним, чем попытки усовершенствовать общественную жизнь только реформированием учреждений.

От «добровольцев русской мысли» требовался выход из взаимоисключающих односторонностей. Долгожданное примирение направлений могло состояться только на основе синтеза двух начал, к которым тяготели в отдельности славянофильство и западничество. «Правильный, полный анализ приводит, мне кажется, к тому заключению, что образцовая общественная жизнь слагается из хороших общественных учреждений и из нравственно развитых людей», – подытоживал свой спор с Достоевским Кавелин [там же, с. 454].

Материалы «записных тетрадей» Достоевского 1880–1881 гг. говорят о том, что он серьезно готовился к отпору Кавелину, причем такому, какой не предполагал ни малейших уступок противнику. По всей видимости, ответ Кавелину должен был занять главу февральского выпуска «Дневника писателя» 1881 г. и превратиться, как полагает В.А. Туниманов, «в принципиальный спор по всем узловым злободневным проблемам не с одним Кавелиным, но со всей “либерально-европейской” партией» [2, т. XXVIII, с. 323]. Этому замыслу Достоевского не суждено было сбыться. Писатель умер 28 января (9 февраля) 1881 г.

Уже январский номер «Вестника Европы» 1881 г. показал, что журнал остается верен линии на бескомпромиссное неприятие «идеологии» Достоевского. В помещенной здесь статье Е.И. Утина «Сатира Щедрина. Очерки из современной литературы» именно этот писатель был провозглашен «законным вождем современной литературы» и противопоставлен Достоевскому. Влияние Достоевского на общество, «ослепленное его талантом», автор статьи определял как «вредное», в то время как Салтыков-Щедрин, находясь «на противоположном полюсе подобного влияния», оказывал своим сатирическим даром «безусловно благотворное воздействие». Достоевский был опасен «порядочно обскурантным мирозерцанием», «проповедью самодовольного квиетизма», облакавшимся им «в смутные и потворствующие самым дурным инстинктам общества идеи “нового слова” и “все-человечества”» [1881, № 1, с. 305–306].

Большой – более десяти страниц – некролог Достоевскому появился в мартовской книжке «Вестника Европы». Его автором был А.Н. Пыпин. Можно ли поставить этот текст, учитывая специфику жанра, в общий ряд полемических высказываний журнала о направлении публицистики писателя? Ведь сам Пыпин напоминал здесь о правиле «о мертвых или хорошо, или ничего». Содержание некролога говорит о том, что он не выпадал из контекста сказанного в журнале о «тенденции» Достоевского при его жизни.

Пыпин начал с указания на поразивший его факт того сильнейшего впечатления, которое произвел уход Достоевского на русское общество. «Редко смерть русского писателя возбуждала столько тревоги, обнаруживала столько сочувствия к его личности, – писал он. – Это факт исторического значения; <...> можно было, по крайней мере, увидеть, что русская литература оказывалась для общества дорогим интересом; – он соединял здесь людей самых различных положений, гимназистов, студентов и – членов государственного совета» [1881, № 3, с. 418].

Некролог предлагал три измерения личности писателя: биографическое, собственно литературное и идеологическое. Знакомясь здесь с основными фактами жизни Достоевского, читатель не мог не обратить внимания на то, с каким теплым чувством обрисовывался автором эпизод участия писателя в кружке петрашевцев и характеризовались социальные устремления русских фурьеристов. Они представляли собой «образчик брожения умов, которое вызывалось самим ростом общества» и были, считал Пыпин, политически безвредными.

Критико-полемическая линия некролога проявилась сразу же, как только его автор перешел к анализу и оценкам литературно-художественной и идеологической частей наследия Достоевского. Да, Пыпин не оспаривал предвидения Белинского, почувствовавшего в Достоевском писателя, «который займет место в первых рядах литературы». «Талант Достоевского, – говорил он уже от себя, – был, без сомнения, один из самых сильных в нашей новейшей литературе» [там же, с. 423]. Однако эти признания вовсе не означали безоглядной апологетики Достоевского-художника. Автору некролога были хорошо видны «крупные недостатки в даровании писателя»: «бессознательность» и «крайняя неровность» его таланта. Пыпин опять-таки соглашался с Белинским в определении источника этих недостатков – «неумение громадного таланта справиться с силами и найти художественную меру» [там же, с. 424]. Поэтому и казались ему странными те «преувеличения, с которыми так часто говорилось в последние годы о значении таланта Достоевского и его художественной силе» [там же, с. 425].

К этим необоснованным преувеличениям присоединились и ошибки в оценке идей и понятий, которыми оперировал Достоевский в своей публицистике. А они «с течением времени стали принимать все более самоуверенное выражение и резкий колорит, если не большую определенность» [там же, с. 428]. В качестве отправной точки в эволюции социально-политических взглядов писателя Пыпин назы-

вал не только фурьеризм петрашевцев, но также «идеи Белинского и его круга». Затем последовал «поворот, который можно сравнить с тем, какой совершился в понятиях Гоголя» [там же, с. 427]. Как публицист «Времени» и «Эпохи» Достоевский вдохновлялся уже теориями «почвы» и заявлял о своей вражде либерализму. Следующим его поприщем стал «Гражданин» Мещерского, «где была выставлена и проводится открыто реакционная программа», «самая враждебная драгоценнейшим интересам и настоятельным нуждам русского народа» [там же]. Издание «Дневника писателя» знаменовало собой финал в том движении, которое публично обозначилось в начале 60-х годов.

Пыпин посчитал неуместной в данном случае полемику с «теориями» позднего Достоевского, находя достаточной отсылку к недавнему «Письму» Кавелина, «где сделано было весьма внимательное исследование тех положений теории, по которым русскому народу приписывалась “всечеловечность”, предсказывалось его руководство в человечестве, <...> включая и предсказания о скорой гибели Западной Европы и ее ложной цивилизации» [там же, с. 428]. Он ограничился только указанием на обилие в журнальных выступлениях писателя «мистических фраз» и «суесловия», в которых было невозможно разглядеть контуры более или менее реалистической программы «исхода из современного общественного положения». То, что выдавалось за нее, было всего лишь «давно знакомыми элементами исторического застоя» [там же, с. 428–429].

Резюме Пыпина выглядело так. «Деятельность Достоевского <...> носила двойственный характер, наподобие того, как деятельность Гоголя, – заключал автор. – Он не довольствовался быть художником и следовать одним внушениям своего дарования; он хотел быть прямо учителем общества, – на что едва ли доказал свое право» [там же, с. 429].

Сравнительный анализ высказываний Пыпина о Достоевском в 1880–1881 гг. открывает любопытный факт. Если в откликах на Пушкинскую речь, а затем и на «Дневник писателя» 1880 г. писатель предстает как эпитимей славянофильства, то в некрологе уже нет никаких сближений его взглядов с этим идейным течением. Рядом с поздним Достоевским оказывается только С.П. Шевырев [там же, с. 428]. Не говорит ли намеченная здесь аналогия «теории» Достоевского с наследством одного из родоначальников теории официальной народности о том, что в глазах главного помощника Стасюлевича по журналу Достоевский заметно «поправел»? Вообще же Пыпин не спешил с окон-

чательными и категорическими оценками, полагая, что время «определять происхождение и значение» «учительской» стороны деятельности писателя еще не наступило.

Тема Достоевского в мартовском номере «Вестника Европы» не была исчерпана пыпинским некрологом. Здесь же началась публикация «Писем о Москве» П.Д. Боборыкина, и уже в первом из них автор заговорил об «умершем месяц тому назад даровитом романисте». Это упоминание о Достоевском (его имя не называлось) возникло в контексте противостояния Боборыкина «двум вождям консервативно-русофильского направления» – М.Н. Каткову и И.С. Аксакову. Петербуржец Достоевский оказывался совсем рядом с этими москвичами, способствуя распространению «какого-то туманного славянофильства», «везание» которого стало таким заметным накануне и в ходе русско-турецкой войны [там же, с. 391].

Достоевский-публицист и мыслитель как объект критики продолжал и дальше присутствовать на страницах «Вестника Европы». Противостояние новейшему славянофильству, воплощавшемуся для журнала, прежде всего, в «Дневнике писателя» и «Руси» И.С. Аксакова (первый номер газеты вышел 15 ноября 1880 г.), по-прежнему не теряло актуальности для либералов-западников. Именно в борьбе с «Дневником писателя» и «Русью» гораздо острее, чем прежде, выявилась потребность в публичном уточнении самими западниками своих теоретических позиций. Надлежало ответить на вопрос: какое западничество и какой либерализм исповедует «Вестник Европы»?

С благословения Пыпина первый шаг в этом направлении был сделан дебютантом журнала А.И. Введенским в статье «Литературные мечтания и действительность. По поводу литературных мнений о народе». В одном из писем Пыпину, относящихся ко времени работы над статьей, Введенский признавался, что вообще не пробовал еще «серьезно писать для журнала». Пыпин, фактически руководивший «Вестником Европы» в 1880 г., не ошибся в авторе, доверяя ему столь ответственную тему. Статья Введенского не только органично продолжила антиславянофильскую линию журнала, но и дала первую развернутую автохарактеристику новейшего западничества, которую представлял журнал. Автор удостоился «доброго и снисходительного мнения» Пыпина [6, № 135, л. 2, 4]. Публикация статьи растянулась на три номера (1881, № 11; 1882, № 2, 9). Она состояла из пяти частей: I. «Западничество»; II. Достоевский; III. И. Аксаков и его «Русь»; IV. Влияние новославянофильской агитации. – Гг. Евгений Марков,

Ор. Миллер и пр.; V. Действительность и ее задачи. Нас будут интересовать главным образом две первые части, увидевшие свет в 1881 г.

Введенский начал с того, что попытался обрисовать наиболее общие контуры западной платформы. Центральным, естественно, оказался наиболее уязвимый для национально-патриотической критики вопрос об отношении западников к Европе. Здесь на помощь было призвано мнение «одного из самых давних и коренных западников – А.И. Герцена. Не называя его имени, Введенский привел несколько выдержек из герценовского «письма к Ш. Рибейролю», завершавшего «Письма из Франции и Италии» в издании 1854 г., и отталкивался от их содержания в собственных размышлениях о характере западного восприятия Европы.

Напомним: Герцен писал о травмирующем русском глубоком различии в жизни Европы «идеалов», «целей политических и литературных стремлений» и повседневной «рыночной и домашней деятельности», быта. Первое составляло «светлую четверть европейской жизни». Второе – невидимые издали «три темные четверти» [9, т. V, с. 219–220]. Введенский не сомневался в справедливости подобного взгляда и считал, что истинный западник, вслед за Герценом, может признать руководящими лишь «идеи, выработанные исторической жизнью не Европы только, а и всего человечества». «Идеи, – замечал он, – также тяжело прививаются к жизни Европы, как и к жизни России» [1881, № 11, с. 303].

Обращение к взглядам Герцена 50-х гг. для доказательства того, что западничеству изначально было присуще критическое отношение к Европе, не назовешь корректным. Введенский ни словом не обмолвился о социализме Герцена, делавшим его чужим среди либералов-западников, национальной трансформации этого социализма после 1848 г. Это молчание станет понятным в ходе дальнейшего анализа «западного» раздела статьи. Пока же главным и самодостаточным для Введенского был тезис о неприятии западниками «трех четвертей» европейской действительности, сформулированный независимо от славянофилов, а не безукоризненность его доказательства.

Противоречие между жизнью Западной Европы и ее идеями, которые Введенский признал вслед за Герценом, отнюдь не означало, по его убеждению, бессилия этих идей. Российские реформы 60–70-х гг. шли под бесспорным воздействием европейского просвещения. Западничество и славянофильство были немыслимы вне мира европейских идей. «И если ей (Европе. – В.К.) суждено пасть, как это предсказывают славянофилы, – писал Введенский, – то падени-

ем она будет обязана не “идеям”, а тем “костям и трупам”, которые влечет за собой поток западной истории. Отсюда ясно, что и формы, в которые облакаются эти идеи в европейской жизни, страдают несовершенствами только от тех же костей и трупов» [там же, с. 303–304].

Оборотной стороной рассуждений Введенского о соотношении идеалов и действительности в жизни Европы было предлагавшееся им решение вопроса о мере европеизма в социальных устремлениях современных западников. Желая установления такого общественного устройства, которое гарантировало бы «наибольшую независимость человеку, наибольшую возможность развития умственных сил», западничество вынуждено заимствовать соответствующие формы общественности у Европы. Иного и не могло быть, так как русская жизнь их не выработала. Но, прекрасно видя «порочные стороны» европейской жизни, западники готовы принять в ней только то, что не противоречит идеалу, лежащему в ее основании. К этой оговорке тут же присоединялась другая. «Все, что изменится в них (формах европейской жизни. – В.К.) под влиянием индивидуальности нашего народа, западничество признает; оно не понимает перенимания, оно признает только усвоение» [там же, с. 305].

После такого уточнения представлений о сущности западного положения Введенскому оставалось только признать, что «чистого» западничества, каким его пытаются представить славянофилы, не было и нет, или, по крайней мере, оно не было влиятельно. Чем дальше развивалось западничество, тем заметнее становилась в нем «живая струя критического отношения к европейским порядкам общественного быта». Но и славянофильство, по убеждению Введенского, двигалось в сторону своего падения: «мечтательные» теории старых славянофилов все более обнаруживали свою «непрактичность». Однако Достоевскому с его «Дневником писателя» все же удалось начать «новую эру славянофильской литературной пропаганды». Его успеху в немалой степени способствовало движение в поддержку славян, развернувшееся в России во второй половине 70-х годов.

В статье Введенского имелось немало переключек с «Письмом Ф.М. Достоевскому» Кавелина, но было и одно немаловажное отличие. Введенский гораздо более определенно выводил западничество за рамки буржуазного либерализма, включая в состав западной доктрины европейский социалистический идеал. «Экономическое рабство нашего времени, вызванное неблагоприятными обстоятельствами, уже стало противоречием растущей идее равно-



правности каждого человека на блага жизни, и нам суждено быть свидетелями суровой борьбы этой плодотворной идеи с действительностью, теряющейся в “грязи улиц”, – говорилось в статье. – <...> В Европе уже давно взоры мыслящих людей обращены также на народ. Даже отсюда именно и пришли к нам идеи, породившие узкое славянофильство. Дело в том, что в Европе точно так же нет веры в буржуазное устройство общества, и спасения там ждут от народа, – но совершенно в ином смысле. Там говорят, что буржуазный быт, основанный на эксплуатации одним классом общества других, не воспитателен для массы общества, как не был воспитателен крепостной русский быт. И не только не воспитателен, но развратителен, залагая в душе человека равнодушие к страданиям масс» [там же, с. 310–311, 312].

Симпатии автора к социализму носили теоретический характер и выглядели вполне безобидно для репутации либерального журнала: западники, отмечал Введенский, относят осуществление социалистического идеала в «желаемое будущее» и хорошо видят трудности решения этой исторической задачи. Пока же они заботятся о «развитии таких форм общественной жизни, которые обеспечивали бы за народом возможность защиты своих интересов и участия в просвещении» [там же, с. 312]. Но даже этот теоретический социализм, не требовавший до поры отказа западников от ценностей либерализма, должен был показать общественному мнению беспочвенность утверждений славянофилов и Достоевского о своем исключительном народолюбии, а также обвинений в буржуазности, которые «Дневник писателя» и аксаковская «Русь» адресовали западникам.

Введенский признавался, что оппонирование Достоевскому представляет немалую трудность прежде всего потому, что «в его воззрениях не было последовательности, логики». Балом правили здесь «сумбур чувств, движение душевных мыслей». Но наступило время, когда надо было, наконец, отважиться на «обобщение» высказанного Достоевским-публицистом. И автор статьи не уклонился от попытки решить эту задачу. Суть же позиции противника не вызывала сомнений. «Дневник писателя» воплощал «славянофильское учение последнего момента». Его автор «начал новую эру славянофильской литературной пропаганды» [там же, с. 307].

На первое место в учении Достоевского Введенский поставил отрицание Европы, отрицание «гнилого Запада». Начиная критику автора «Дневника писателя», он снова обратился к герценовскому образу «трех темных четвертей» в жизни Европы. «Эти три четверти, – читаем

мы в статье, – представляются Достоевскому в таких ужасных размерах, что освобождение от них, даже какого-нибудь просвета в них он не ожидает. Экономическое порабощение масс, ведущее к порабощению и нравственному, существует-де там, в Европе, так прочно, что спасения не видно ниоткуда. Идея освобождения масс, идея “четвертого сословия” кажется Достоевскому бессильною» [там же, с. 307–308].

Это убеждение, оказывается, основано на «законе», истинность которого для Достоевского неколебима. Европе, стремящейся к свободе, он напоминает, что свобода «ведет огромное большинство лишь к лакейству перед чужой мыслью», т. е. к «полнейшему несовершенству человеческой личности». Если следовать такой логике, замечал Введенский, то «не рабство ли составит тот архимедов рычаг, которым можно будет перевернуть мир, сделать его “доделанным”, нравственным?» «Когда вы анализируете воззрения Достоевского, открывающие “перспективы”, вам становится жутко за человека, – так безнадежно это учение, так велико в нем отсутствие веры в человека и человечество, почти презрение к нему. Спешим оговориться – отсутствие веры в западного человека, презрение к европейскому человеку. Русское человечество – совсем иное дело» [там же, с. 308–309].

Если «три темные четверти европейской жизни» свидетельствовали, по Достоевскому, о невозможности ее обновления, то находил ли писатель такие «четверти» в русской жизни и сколько он их насчитывал? Этим вопросом задавался Введенский и, отвечая на него, ни сколько не сомневался в остроте социального зрения писателя. Но глубокое видение и чувство им несовершенств современной российской действительности парадоксальным образом порождали в нем безграничную уверенность в их успешном преодолении. Более того, в русском народе открылись для него «задатки безграничного роста» не только для самой России, но «целой Европы» и «всего человечества».

В чем же состояли, по мнению автора статьи, особенности воззрений Достоевского на народ, составлявшие еще одну существенную часть его «учения», и насколько убедителен был здесь писатель?

Сомнения Введенского вызывало, в первую очередь, убеждение Достоевского в том, что главное преимущество русского народа перед другими заключается в православии, «православном деле». «Но ведь православие – не природное свойство нашего народа, – возражал он, – а исторически привнесенное верование, да притом еще и не усвоенное народом вполне. Что же остается тогда от мысли о преимуще-

ственно счастливой психической организации народа?» [там же, с. 319]. Из «исключительного православия» выводилась его «бесконечная любовь» к братьям-славянам. Но где найти доказательства, что это свойство было исключительно русским? – снова вопрошал Введенский.

Предрекая гибель Европе, Достоевский был уверен в том, что только Россия благодаря особым свойствам русского народа будет способна «разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братии, без боя и без крови, ненависти и зла». «Юношескую, почти детскую переимчивость, подражательность, неустойчивость духовной физиономии, отсутствие резко очерченной индивидуальности Достоевский принимает за особое свойство русского духа, имеющее спасти мир. Любопытно бы знать, каким образом влияло бы это свойство на факте, в действительности. Ведь если бы оно владело всем миром, оно обезличило бы человечество, потому что такая “всемирность” есть только признак того, что индивидуальность недостаточно определена. <...> Пресловутая “всемирность” есть только поверхностность, несерьезность внутренней жизни» [там же, с. 320–321].

Неправдоподобность образа народа, рисованного Достоевским в его публицистике, становилась очевидной и по причине разительного диссонанса между столь дорогой для него «благочестивой, религиозной жаждой пострадать за правое дело», которая якобы свойственна русскому человеку, и «способностью вполне хладнокровно “зарезать человека хоть за рубль”» [там же, с. 321].

Неубедительной в глазах Введенского была и попытка Достоевского привлечь для доказательства правоты своих идей ссылки «на любовь народа к “земле” и на освобождение его с землею». Ничего исключительно русского, вяжущегося со «всемирностью» его духа он в этих неоспоримых фактах не обнаруживал. Сам Введенский объяснял освобождение крестьян с землей осознанием реформаторами и частью дворянства той «невыгоды поступить иначе», о которой «свидетельствовал пример Европы, страдавшей от пролетариата». Следовательно, «мы заимствовали эту идею из Европы же и применили ее у себя». Но осуществление ее в действительности оказалось неполным по причине заявивших о себе «свокорыстных, недальновидных, узких расчетов» со стороны власть имущих. Да и «народ наш отказывается от земли, получая возможность жить другим трудом», – отмечал критик Достоевского [там же, с. 321–322].

Искреннее сочувствие народу, безусловно, сближало славянофильство Достоевского и потенциальный социализм западников. Но эта близость в то же время еще более подчеркивала

принципиальную разницу в решении проблемы народа спорящими сторонами. Подобно европейским социалистам, западники ожидают «благ от народа» только в том случае, если он сознательно воспримет гуманистические идеи: «просвещенный народ не захочет, чтобы его эксплуатировали, а ему некого эксплуатировать» [там же, с. 312]. По Достоевскому, русский народ благодаря православию уже достиг нравственного совершенства, а потому коренная западническая идея прогресса свободы и нравственности на основе европейского просвещения была ему глубоко враждебна.

Введенскому не составило большого труда показать, в какие логические и политические тупики заводила писателя идеализация особых свойств русской души при его поразительной способности видеть пороки современной русской жизни. Завершая полемику со славянофильскими идеями Достоевского, он писал: «Но предположим опять, что мнения Достоевского о народе верны, что народ только в силу исторических обстоятельств погрязает в разврате <...> при исключительных свойствах душевных. Что же отсюда следовало бы? Очевидно, нужно устранять страшные влияния, желать, по крайней мере, их устранения? Ведь по смыслу мнений того самого же Достоевского, эти влияния извращают народную жизнь и нравственность. Но нет, Достоевский не хочет ничего этого. Он утверждает, что все дело – в улучшении нравственности самостоятельно человеком, путем страдания, которое однако же губит народ. Что же нужно? <...> Достоевский дает на это ответ санкционированием почти всего существующего: он защищает современное положение финансов русских; ему кажутся необходимыми славянские войны, истощающие народ; он за распространение нашего влияния в Азии, при им же признаваемой нравственной и материальной гибели народа дома; он за все, что мучит нашу родину, и только предлагает нравственно упавшей интеллигенции примкнуть к народу. А между тем народ все более и более, опять-таки по сознанию самого Достоевского, развращается нравственно!» [там же, с. 323–324].

Ведя бескомпромиссный спор с Достоевским – «учителем» и «пророком», Введенский не забывал все-таки напомнить читателю о другой, может быть, более важной грани личности своего идейного противника – огромном художественном таланте. Либеральный западник новейшей формации не скрывал восхищения умением писателя «трогать интимнейшие струны человеческой души, заглядывать в самую глубь души человека». Но все это не искупало урона, причиняемого «учением» Достоевского. «Нужно ли

говорить, сколько горя приносит оно родине!» [там же, с. 324]. Этим восклицанием завершалась посвященная Достоевскому часть статьи.

Что же можно сказать в заключение? Poleмика «Вестника Европы» с Достоевским в 1880–1881 гг. носила односторонний характер. Либеральный журнал доминировал в ней, в то время как писатель еще только накапливал силы для публичного противостояния литературному оплоту ненавистного ему либерализма. В том, что это полнокровное сражение могло и должно было состояться, убеждают и содержание рабочих записей писателя, и сопутствовавшее им намерение издавать в 1881 г. «Дневник писателя» в полном, ежемесячном формате. Poleмическую активность должен был стимулировать и факт возвращения на журнальное поприще И.С. Аксакова. Достоевский высоко оценил объявление об издании «Руси», назвав его «превосходным» и не разочаровался в первых передовых статьях Ивана Аксакова. Славянофилы были для него в это время «своими». Альянс с «Русью» позволял надеяться на скорое усиление «русского» направления, «русской партии», на возобновление борьбы между славянофильством и западничеством. Однако этим планам не дано было сбыться.

«Вестник Европы» не ошибся, определяя позицию своего противника как славянофильскую. Главные оппоненты Достоевского в журнале (а это были А.Н. Пыпин, К.Д. Кавелин,

А.И. Введенский) чутко улавливали органическую, родовую связь мировоззрения писателя со славянофильством. Таким образом, полемику «Вестника Европы» с Достоевским можно рассматривать как кратковременную начальную фазу третьего (и заключительного) этапа борьбы между славянофильством и западничеством (I этап – 1840-е гг.; II этап – 1856–1857 гг.). Он занимает первую половину 1880-х гг., а его содержательным ядром явилось противостояние «Вестника Европы» аксаковской «Руси».

#### Список литературы

1. Вестник Европы. 1876. № 8. С. 799.
2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Л., 1972–1990.
3. Волгин И.Л. Последний год Достоевского. Исторические записки. М., 1991. С. 208–261.
4. Тургенев И.С. Собрание сочинений. В 28 т. Письма в 13 т. Т. 12, кн. 2. М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1967.
5. Рукописный отдел Института русской литературы (С.-Петербург). Ф.293 (архив М.М. Стасюлевича). Оп. 1.
6. Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (С.-Петербург). Ф. 621 (А.Н. Пыпин).
7. Анненков П.В. Письма к И.С. Тургеневу. Кн. 2. 1875–1883. СПб., 2005. С. 121.
8. Китаев В.А. Либеральная мысль в России (1860–1880 гг.). Саратов, 2004. С. 48–81.
9. Герцен А.И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. V. М., 1955. С. 219–220.

#### «VESTNIK EVROPY» IN ITS CONTROVERSY WITH F.M. DOSTOEVSKY (1880–1881)

V.A. Kitaev

This article presents an analysis of the content of the dispute that the «Vestnik Evropy» journal conducted with the ideas of F.M. Dostoevsky's publicistic writings in 1880–1881. The place of this dispute in the history of the confrontation between Westernism and Slavophilism is determined.

*Keywords:* «Vestnik Evropy», F.M. Dostoevsky, A.N. Pypin, K.D. Kavelin, A.I. Vvedensky, Slavophilism, Westernism, Liberalism, Russia, Europe, people, Orthodoxy.

#### References

1. Vestnik Evropy. 1876. № 8. S. 799.
2. Dostoevskij F.M. Polnoe sobranie sochinenij. V 30 t. L., 1972–1990.
3. Volgin I.L. Poslednij god Dostoevskogo. Istoričeskie zapiski. M., 1991. S. 208–261.
4. Turgenev I.S. Sobraenie sochinenij. V 28 t. Pis'ma v 13 t. T. 12, kn. 2. M. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1967.
5. Rukopisnyj otdel Instituta ruskoj literatury (S.-Peterburg). F.293 (arhiv M.M. Stasyulevicha). Op. 1.
6. Rukopisnyj otdel Rossijskoj nacional'noj biblioteki (S.-Peterburg). F. 621 (A.N. Pypin).
7. Annenkov P.V. Pis'ma k I.S. Turgenevu. Kn. 2. 1875–1883. SPb., 2005. S. 121.
8. Kitaev V.A. Liberal'naya mysl' v Rossii (1860–1880 gg.). Saratov, 2004. S. 48–81.
9. Gercen A.I. Sobraenie sochinenij. V 30 t. T. V. M., 1955. S. 219–220.